

**Дмитрий Сергеевич
Мережковский**

Данте

**Москва
Книга по Требованию**

УДК 82-3
ББК 84-4

Дмитрий Сергеевич Мережковский

Данте / Дмитрий Сергеевич Мережковский – М.: Книга по Требованию, 2011. – 234 с.

ISBN 5-699-13834-X

Д.С.Мережковский – выдающийся русский и европейский писатель Серебряного века, поэт, романист, драматург, критик, религиозный философ. В книгу вошли биографический роман «Данте» (1937).

ISBN 5-699-13834-X

© Издание на русском языке, оформление, «
YOYO Media», 2011

© Издание на русском языке, оцифровка, «
Книга по Требованию», 2011

Дмитрий Сергеевич
Мережковский
Данте

ПРЕДИСЛОВИЕ. ДАНТЕ И МЫ

«Три в одном — Отец, Сын и Дух Святой — есть начало всех чудес».¹ Этим исповеданием Данте начинает, в «Новой жизни», жизнь свою; им же и кончает ее в «Божественной комедии»:

Там, в глубине Субстанции Предвечной,
Явились мне три пламеневших круга
Одной величины и трех цветов...
О, вечный Свет, Себе единосущный,
Себя единого в Отце познавший,
Собой единым познанный лишь в Сыне,
Возлюбленный собой единым в Духе!²

Все, чем Данте жил, и все, что сделал, заключено в этом одном, самом для нас непонятном, ненужном и холодном из человеческих слов, а для него — самом нужном, огненном и живом: Три.

«Нет, никогда не будет три одно!» — смеется — кошунствует Гёте (Разгов. с Эккерманом), и вместе с ним дух всего отступившего от Христа, человечества наших дней. И Мефистофель, готовя, вместе со старой ведьмой, эликсир вечной юности для Фауста, так же кошунствует — смеется:

Увы, мой друг, старо и ново,
Веками лжи освящено,
Всех одурачившее слово:
Один есть Три и Три — Одно.³

Жив Данте, или умер для нас? Может быть, на этот вопрос вовсе еще не ответ вся его в веках немеркнущая слава, потому что подлинное существо таких людей, как он, измеряется не славой — отражением бытия, слишком часто обманчивым, — а самим бытием. Чтобы узнать, жив ли Данте для нас, мы должны судить о нем не по нашей, а по его собственной мере. Высшая мера жизни для него — не созерцание, отражение бытия сущего, а действие, творение бытия нового. Этим он превосходит всех трех остальных, по силе созерцания равных ему художников слова: Гомера, Шекспира и Гёте. Данте не только отражает, как они, то, что есть, но и творит то, чего нет; не только созерцает, но и действует. В этом смысле высшей точки поэзии (в первом и вечном значении слова *poiein*: делать, действовать) достиг он один.

«Цель человеческого рода заключается в том, чтобы осуществлять всю полноту созерцания, сначала для него самого, а потом для действия, *prius ad speculandum, et secundum ad operandum*».⁴ Эту общую цель человечества Данте признает и для себя высшей мерою жизни и творчества: «Не созерцание, а действие есть цель всего творения („Комедии“) — вывести людей, в этой (земной) жизни, из несчастного состояния и привести их к состоянию блаженному. Ибо если в некоторых частях „Комедии“ и преобладает созерцание, то все же не ради него самого, а для действия».⁵

Главная цель Данте — не что-то сказать людям, а что-то сделать с людьми; изменить их души и судьбы мира. Вот по этой-то мере и надо судить Данте. Если прав Гёте, что Три — Одно есть ложь, то Данте мертв и мы его не воскресим, сколько бы ни славили.

Явный или тайный, сознательный или бессознательный суд огромного большинства людей нашего времени над Данте высказывает знаменитый итальянский «дантовед» (смешное и странное слово), философ и критик, Бенедетто Кроче: «Все религиозное содержание „Божественной комедии“ для нас уже мертво». Это и значит: Данте умер для нас; только в художественном творчестве, в созерцании, он вечно жив и велик, а в действии ничтожен. Это сказать о таком человеке, как Данте, все равно что сказать: «Душу свою вынь из тела, веру из поэзии, чтобы мы тебя приняли и прославили».

Все художественное творчество Данте, его созерцание, — великолепные, золотые с драгоценными камнями, ножны; а в них простой стальной меч — действие. Тщательно хранятся и славятся ножны, презрен и выкинут меч.

«В эту самую минуту, когда я пишу о нем, мне кажется, что он смотрит на меня с высоты небес презрительным оком»,⁶ — говорит Боккачио, первый жизнеописатель Данте, верно почувствовав что-то несонизмеримое между тем, чем Данте кажется людям в славе своей, и тем, что он есть.

Семь веков люди хулят и хвалят — судят Данте; но, может быть, и он их судит судом более для них страшным, чем их — для него.

В том, что итальянцы хорошо называют «судьбою» Данте, fortuna, — громкая слава чередуется с глухим забвением. В XVI веке появляется лишь в трех изданиях «Видение Данте», «*Visione di Dante*», потому что самое имя «Комедии» забыто. «Слава его будет расти тем больше, чем меньше его читают», — злорадствует Вольтер в XVIII веке.⁷ «Может быть, во всей Италии не найдется сейчас больше тридцати человек, действительно читавших „Божественную комедию“», — жалуется Альфиери в начале XIX века. Если бы теперь оказалось в Италии тридцать миллионов человек, читавших «Комедию», живому Данте вряд ли от этого было бы легче.

О ты, душа... идущая на небо,
Из милости утешь меня, скажи,
Откуда ты идешь и кто ты? — ,
спрашивает одна из теней на Святой Горе Чистилища, и Данте отвечает:

Кто я такой, не стоит говорить:

Еще мое не громко имя в мире.⁸

Имя Данте громко сейчас в мире, но кто он такой, все еще люди не знают, ибо горькая «судьба» его, fortuna, — забвение в славе.

Древние персы и мидяне, чтобы сохранить тела покойников от тления, погружали их в мед. Нечто подобное делают везде, но больше всего в Италии, слишком усердные поклонники Данте. «Наш божественнейший соотечественник» (как будто мало для похвалы кощунства — сравнить человека с Богом, — нужна еще превосходная степень): эта первая капля меда упала на Данте в XVI веке, а в XX он уже весь с головой — в меду похвал.⁹ Бедный Данте! самого горького и живого из всех поэтов люди сделали сладчайшим и мертвейшим из всех. Казни в аду за чужие грехи он, может быть, слишком хорошо умел изобретать; но если был горд и чересчур жаден к тому, что люди называют «славой» (был ли действительно так горд и так жаден к славе, как это кажется, — еще вопрос), то злейшей казни, чем эта за свой собственный грех, не изобрел бы и он.

Те, кто, лет семь, по смерти Данте, хотел вырыть кости его из земли и сжечь за то, что он веровал будто бы не так, как учит Церковь, — лучше знали его и

уважали больше, чем те, кто, через семь веков, славят его за истинную поэзию и презирают за ложную веру.

Люди наших дней, счастливые или несчастные, но одинаково, в обоих случаях, самоуверенные, никогда не сходявшие и не подымавшиеся по склонам земли, ведущим вниз и вверх, в ад и в рай, не поймут Данте ни в жизни его, ни в творчестве. Им нечего с ним делать так же, как и ему с ними.

В самом деле, что испытал бы среднеобразованный, среднеумный, среднечувствующий человек наших дней, если бы, ничего не зная о славе Данте, вынужден был прочесть 14 000 стихов «Комедии»? В лучшем случае, — то же, что на слишком долгой панихидной службе по официально-дорогом покойнике; в худшем — убийственную, до вывиха челюстей зевающую скуку.

Разве лишь несколько стихов о Франческе да Римини, о Фаринате и Уголино развлекло бы его, удивило, возмутило или озадачило своей необычайностью, несоизмеримостью со всем, что он, средний человек, думает и чувствует. Но это не помешало бы ему согласиться с Вольтером, что поэма эта — «нагромождение варварских нелепостей»,¹⁰ или с Ницше, что Данте — «поэтическая гиена в гробах».¹¹ А тем немногим, кто понял бы все-таки, что Данте велик, это не помешало бы согласиться с Гёте, что «величие Данте отвратительно и часто ужасно».¹²

Судя по тому, что сейчас происходит в мире, главной цели своей — изменить души людей и судьбы мира — Данте не достиг: созерцатель без действия, Колумб без Америки, Лютер без Реформации, Карл Маркс без революции, он и после смерти такой же, как при жизни, вечный изгнанник, нищий, одинокий, отверженный и презренный всеми человек вне закона, трижды приговоренный к смерти: «Многие... презирали не только меня самого, но и все, что я сделал и мог бы еще сделать».¹³ Это презрение, быть может, тяготее на нем, в посмертной славе его, еще убийственнее, чем при жизни, в бесславии.

И все-таки слава Данте не тщетна: кто еще не совсем уверен, что весь религиозный путь человечества ложен и пагубен, — смутно чувствует, что здесь, около Данте, одно из тех святых мест, о которых сказано: «Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая»;¹⁴ смутно чувствует, что на этом месте зарыто такое сокровище, что если люди его найдут, то обогатятся нищие. Как бы Данте ни умирал для нас, что-то в нем будет живо, пока дух человеческий жив.

Если отступившее от Христа человечество идет по верному пути, Данте никогда не воскреснет; а если по неверному, — то, кажется, день его воскресения сейчас ближе, чем когда-либо. В людях уже пробуждается чувство беспокойства; если еще смутное и слабое сейчас оно усилится, то люди поймут, что заблудились в том же «темном и диком лесу», в котором заблудился и Данте перед сошествием в ад:

Столь горек был тот лес, что смерть немногим горше.¹⁵

Данте воскреснет, когда в людях возмутится и заговорит еще немая сейчас, или уже заглушенная, не личная, а общая совесть. Каждый человек в отдельности более или менее знает, что такое совесть. Но соединения людей — государства, общества, народы — этого не знают вовсе или не хотят знать; жизнь человечества — всемирная история, чем дальше, тем бессовестней. Малые злодеи казнятся, великие — венчаются по гнусному правилу, началу всех человеческих низостей: «победителей не судят». Рабское подчинение торжествующей силе, при-

знание силы правом, — вот против чего возмущается «свирепейшим негодованием растерзанное сердце» Данте, *saevissimo indignatione cor dilaceratum*.¹⁶ Нет такого земного величия и славы, где Дантово каленое железо не настигло бы и не выжгло бы на лбу злодея позорного клейма.

«Не знают, не разумеют, во тьме ходят; все основания земли колеблются... Восстань, Боже, суди землю, ибо Ты наследуешь все народы» (Пс. 81, 5–8). Это Данте сказал так, как никто не говорил после великих пророков Израиля.

Я увидел под жертвенником души убиенных за слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря: доколе, Владыка святыи и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу? (Откр. 6, 9—10).

Этот, потрясающий небо, вопль повторяет Данте на земле:

О, Господи! Когда же наконец

Увижу я Твое святое мщенье,

Что делает нам сладостным Твой гнев?¹⁷

В голосе Данте слышится, немолчный в веках, голос человеческой совести, заговорившей, как никогда, после распятой на кресте Божественной Совести.

Я не могу сказать, как я туда зашел,

Так полон я был смутным сном в тот миг,

Когда я верный путь уже покинул, —¹⁸

вспоминает Данте, как заблудился в темном диком лесу, ведущем в ад. Кажется иногда, что весь мир полон сейчас тем же смутным сном, — как бы умирает во сне, чтобы сойти в ад. Если суждено ему проснуться, то, может быть, в одном из первых, разбудивших его, голосов он узнает голос воскресшего Данте.

Верно угадал Пифагор: миром правит Число; музыка сфер есть божественная, в движении планет звучащая математика. К музыке сфер мы оглохли, но лучше Пифагора знаем, что правящие миром основные законы механики, физики, химии, а может быть, и биологии выражаются в математических символах-числах.

Символ войны — число Два. Два врага: два сословия, богатые и бедные, — в экономике; два народа, свой и чужой, — в политике; два начала, плоть и дух, — в этике; два мира, этот и тот, — в метафизике; два бога, человек и Бог, — в религии. Всюду Два и между Двумя — война бесконечная. Чтобы окончилась война, нужно, чтобы Два соединились в Третьем: два класса — в народе, два народа — во всемирности, две этики — в святости, две религии, человеческая и божеская, — в Богочеловеческой. Всюду два начала соединяются и примиряются в третьем так, что они уже Одно — в Трех, и Три — в Одном. Это и значит: математический символ мира — число Три. Если правящее миром число — Два, то мир есть то, что он сейчас: бесконечная война; а если — Три, то мир будет в конце тем, чем был сначала, — миром.

«Нет, никогда не будет Три — Одно», — возмещает миру, устами Гёте, дух отступившего от Христа человечества, и мир этому верит.

Ах, две души живут в моей груди!

Хочет одна от другой оторваться...

В грубом вождельенье, одна приникает к земле,

всеми трепетными членами жадно,

а другая рвется из пыли земной

к небесной отчизне, —¹⁹

возвещает миру тот же дух, устами Гёте-Фауста. Хочет душа от души оторваться, и не может, и борется в смертном борении. Это не Божественная комедия Трех, а человеческая трагедия Двух. С Гёте-Фаустом, под знаком двух — числа войны, — движется сейчас весь мир: куда, — мы знаем, или могли бы знать по холодку, веющему нам уже прямо в лицо со дна пропасти. Первый человек, на дне ее побывавший и только чудом спасшийся, — Данте. То, что он там видел, он назвал словом, которое сегодня кажется нам смешным и сказочным, но завтра может оказаться страшно-действительным: Ад. Вся «Комедия» есть не что иное, как остерегающий крик заблудившимся в «темном и диком лесу», который ведет в Ад.

Это и есть цель всей жизни и творчества Данте: с гибельного пути, под знаком Двух, вернуть заблудившееся человечество на путь спасения, под знаком Трех. Вот почему сейчас, для мира, погибнуть или спастись — значит сделать выбор: Гёте или Данте; Два или Три. Только что люди это поймут, — Данте воскреснет.

Найденные в пирамидах Древнего Египта семена пшеницы, положенные туда за пять тысяч лет, если их посеять, прорастают и зеленеют свежей зеленью. Сила жизни, скрытая в Данте, подобна такому пятитысячелетнему, пирамидному семени. «Три — одно есть начало всех чудес», и этого, величайшего из всех, — Вечной Любви, воскрешающей мертвых.

Спасти нас может вечная Любовь,
Пока росток надежды зеленеет...²⁰

Счастлив, кто первый увидит в сердце Данте, певца бессмертной надежды, этот зеленеющий росток вечной весны; счастлив, кто первый скажет: «Данте воскрес».

Что это скоро будет — чувствуется в мире везде; но больше всего на родине Данте. Кто он такой в первом и последнем религиозном существе своем, всемирно-историческом действии Трех, — люди не знают и здесь, как нигде. Знают, чем был он для Италии, но чем будет для мира, не знают. Все еще и здесь живая душа его спит в мертвой славе очарованным сном, как сказочная царевна в хрустальном гробу.

Я пишу эти строки на одном из окружающих Флоренцию блаженно-пустынных и райски-цветущих холмов Тосканы. Стоит мне поднять глаза от написанных строк, чтобы увидеть ту землю, о которой Данте говорил в изгнании: «Мир для меня отечество, как море для рыб, но, хотя я любил Флоренцию так, что терплю несправедливое изгнание за то, что слишком любил ее, все же нет для меня места в мире любезнее Флоренции».²¹

О ней (Беатриче) говорит Любовь: «Смертное как может быть таким прекрасным и чистым?»²² «Как может земля быть такой небесной?» — могла бы сказать Любовь и о земле Беатриче. Кажется, нет в мире более небесной земли, чем эта. Вечно будет напоминать людям-изгнанникам об их небесной отчизне эта, самая блаженная, и самая грустная, как будто с неба изгнанная и вечно о небе тоскующая, земля. Только здесь и могла родиться величайшая, какая только была в человеческом сердце, тоска земного изгнания по небесной отчизне, — любовь Данте к Беатриче.

Цвет жемчуга в ее лице (Беатриче).²³

Тот же цвет и в лице ее земли. В серебристой серости этих далеких, в солнечной мгле тающих, гор — исполинских жемчужин — цвет голубой, небесный,

холодный, переливается в розовый, теплый, земной. И в девственной нежности, с какою волнуется чистая линия гор на небе и с какою на земле волновалась чистейшая линия женского тела, когда Беатриче шла по улице, «венчанная и облеченная смирением», — та же незримая прелесть, как в музыке Дантовых о ней стихов:

«Amor che ne la mente mi ragiona».
«Любовь с моей душою говорит», —
Так сладко он запел, что и доныне
Звучит во мне та сладостная песнь.²⁴

И будет звучать, пока жива в мире любовь.

«Так смиренно было лицо ее, что, казалось, говорило: всякого мира я вижу начало», — вспоминает Данте первое видение Беатриче умершей — бессмертной.²⁵ Так смиренно и лицо этой земли, что, кажется, хочет сказать: «Всякого мира я вижу начало». Даже в эти страшные-страшные, черные дни, когда всюду в мире война, — в этой земле, где родилась вечная Любовь, — вечный мир.

О, чужая — родная земля! Почему именно здесь я чувствую больше, чем где-либо, что тоска по родине в сердце изгнанников неутолима, — не хочет быть утолена? Почему я не знаю, лучше ли мне здесь, в этом раю почти родной земли, чем было бы там, в аду совсем родной? И может ли земную родину заменить даже небесная? Кажется, этого и Данте не знал, когда говорил: «Больше всех людей я жалею тех, кто, томясь в изгнании, видит отечество свое только во сне».²⁶ Почему звучит в сердце моем эта тихая, как плач ребенка на сне, жалоба Данте-изгнанника: «О, народ мой! Что я тебе сделал?»²⁷

Это во сне, а наяву все муки изгнания — ничто, лишь бы и мне сказать, как Данте говорит от лица всех изгнанников, борющихся за живую душу родины — свободу:

Пусть презренны мы ныне и гонимы, —
Наступит час, когда, в святом бою,
Над миром вновь заблещут эти копыя...
Пусть жалкий суд людей иль сила рока
Цвет белый черным делает для мира, —
Пасть с добрыми в бою хвалы достойно.²⁸

Только ли случай, или нечто большее, — то, что именно в эти, страшные для всего человечества, дни, может быть, канун последней борьбы его за свою живую душу, — свободу, — русский человек пишет о Данте, нищий — о нищем, презренный всеми — о презренном, изгнанный — об изгнанном, осужденный на смерть — об осужденном?

Никто из людей европейского Запада не поймет сейчас того, что я скажу. Но все поймут, когда увидят, — и, может быть, скоро, — что в судьбах русского Востока решаются и судьбы европейского Запада.

Самый западный из западных людей, почти ничего не знавший и не желавший знать о Востоке, видевший все на Западе, а к Востоку слепой, — Данте, кончив главное дело всей жизни своей, — «Комедию», последним видением Трех, — умер — уснул, чтобы проснуться в вечности, на пороге Востока — в Равенне, где умер Восток, где Византийская Восточная Империя кончилась, и начиналась Западная, Римская.

Если в жизни таких людей, как Данте, нет ничего бессмысленно-случайного,

но все необходимо-значительно, то и это, как все: к Западу обращено лицо Данте во времени, а в вечности — к Востоку. Данте умер на рубеже Востока и Запада, именно там, где должен был умереть первый возвеститель объединяющей народы, Западно-Восточной всемирности. Если так, то впервые он понят и принят будет на обращенном к Западу Востоке, — в будущей свободной России.

Только там, где, ища свободы без Бога и против Бога, люди впали в рабство, невиданное от начала мира, поймут они, что значат слова Данте: «Величайший дар Божий людям — свобода... ибо только в свободе мы уже здесь, на земле, счастливы, как люди, и будем на небе блаженны, как боги».²⁹

Только там, в будущей свободной России, поймут люди, что значит: «Всех чудес начало есть Три — Одно», и когда поймут, — начнется, предсказанное Данте, всемирно-историческое действие Трех.³⁰

ЖИЗНЬ ДАНТЕ

I. НОВАЯ ЖИЗНЬ НАЧИНАЕТСЯ

«'Incipit vita nova', — перед этим заголовком в книге памяти моей не многое можно прочесть», — вспоминает Данте о своем втором рождении, бывшем через девять лет после первого, потому что и он, как все дети Божии, родился дважды: в первый раз от плоти, а во второй — от Духа.³¹

Если кто не родится... от Духа, не может войти в Царствие Божье. (Ио. 3, 5.)

Но чтобы понять второе рождение, надо знать и первое, а это очень трудно: Данте, живший во времени, так же презрен людьми и забыт, как живущий в вечности.

Малым кажется великий Данте перед Величайшим из сынов человеческих, но участь обоих в забвении, Иисуса Неизвестного — неизвестного Данте, — одна. Только едва промелькнувшая, черная на белой пыли дороги тень — человеческая жизнь Иисуса; и жизнь Данте — такая же тень.

...Я родился и вырос,

В великом городе, у вод прекрасных Арно.³²

В духе был город велик, но вещественно мал: Флоренция Дантовых дней раз в пятнадцать меньше нынешней; городок тысяч в тридцать жителей, — жалкий поселок по сравнению с великими городами наших дней.³³

Тесная, в третьей и последней, при жизни Данте, ограде зубчатых стен замкнутая, сжатая, как нераспустившийся цветок, та водяная лилия Арнских болот, сначала белая, а потом, от льющейся в братоубийственных войнах, крови сынов своих, красная, или от золота червонцев, червонная лилия, что расцветет на ее родословном щите, — Флоренция была целомудренно-чистою, как тринадцатилетняя девочка, уже влюбленная, но сама того не знающая, или как ранняя, еще холодная, безлиственная и безуханная весна.

Стыдливая и трезвая, в те дни,

Флоренция, в ограде стен старинных,

С чьих башен неся мерный бой часов,

Покоилась еще в глубоком мире.

Еще носил Беллинчионе Берти

Свой пояс, кожаный и косяной;

Еще его супруга отходила

От зеркала, с некрашеным лицом...

Еще довольствовались жены прялкой.

Счастливые! спокойны были, зная,

Что их могила ждет в родной земле,

И что на брачном ложе не покинут

Их, для французских ярмарок, мужья.

Одна, качая колыбель младенца,

Баюкала его родною песнью,

Что радует отца и мать; другая

С веретена кудель щипала, вспоминая

О славе Трои, Фьезоле и Рима.³⁴